

## ЛЕНИНГРАДСКАЯ БЛОКАДА И ПОЭЗИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Ленинградская Блокада наряду с геноцидом европейских евреев и ядерной бомбардировкой японских городов стала символом катастрофы как таковой, то есть массового уничтожения мирного населения. Однако в течение многих десятилетий в России Блокада интерпретировалась совершенно иным образом: как героический подвиг, и погибшие в ней – не как беззащитные жертвы, а как герои, то есть речь шла не о Блокаде, а о Героической обороне Ленинграда. Таким образом, реинтерпретация Блокады стала частью не только внутренней переоценки ценностей, но и общемировой тенденции дегероизации истории, отмены фигуры героя как таковой.

Неолиберальная контрреволюция 1990-х, стала использовать Блокаду так же, как и другие национальные трагедии XX века: Гражданскую войну, Голодомор, Большой террор в качестве оружия. Нет ли тут всего лишь переворачивания всё той же советской пропагандистской картины прошлого верх ногами? Негатива в позитив и наоборот?

В последние десятилетия и в историографии, и в художественной литературе, и в литературоведении было сделано много для разработки тех или иных блокадных сюжетов, однако создается впечатление, что за редким исключением (как книги Сергея Ярова), мы имеем дело не с глубоким анализом катастрофических событий, а с неким неолиберальным возражением советскому историческому нарративу и социалистическому реализму как методу познания человека и человеческого общества. При этом полемика с социалистическим реализмом ведется без учета его сути, а именно марксистского классового анализа. В результате получается картина с невероятным искажением пропорций.

По официальной статистике военного времени во время Блокады погибло 640 тысяч человек, однако исследователями чаще всего называется цифра приблизительно в один миллион. Среди этого миллиона человек как минимум тысяч 900 составляли рабочие и крестьяне. Однако в сегодняшнем разговоре о Блокаде мы видим проявление внимания лишь к тем героям и лишь к тем свидетелям, которые являются представителями привилегированных слоев населения. Причем неважно, привилегированными до революции и во многом растерявшими свои привилегии, порой даже обнищавшими, либо «новыми» привилегированными — представителями номенклатуры, часто из бывших революционеров. Таким образом, подавляющая часть погибших или переживших катастрофу лишена не только права голоса, но лишена интереса к себе.

Тотальная дискредитация героизма или переквалификация героев в жертв не только ведет к анахронической универсализации современных представлений и отказу от желания понять общество прошлого и человека прошлого, но оно направлено на превращение западноевропейского и североамериканского среднего класса, то есть трансформировавшегося, согласно запросам неолиберализма, вчерашнего мелкого буржуа, в Человека с большой буквы, в Человека как такового, в «меру всех вещей». Габитус этого класса включает в себя, в частности, мировоззрение, основывающееся на поп-психологии с ее так называемой «работой над травмой», то есть по большей части перекладывании своих проблем на других (на родителей, на мужей и жен, на обстоятельства) и к отказу от жесткой и порой жертвенной защиты своих святынь и ценностей.

Однако человек иной культуры, нежели мелкобуржуазная евро-американская культура, упорно отказывается от свидетельства против себя: он отказывается считать себя жертвой и рассматривать произошедшее с ним как непоправимую травму. Именно таким был советский человек, без понимания которого непонятны ни советская история, ни советская литература.

Начнем с ответа на вопрос: что такое Ленинградская Блокада с классово-точкой зрения? Население города, как и население всего СССР, состояло из четырех классов – это обычная описываемая марксизмом ситуация: два класса слабеющих и два класса крепнущих. При этом два класса всегда являются господствующими и два класса – подчиненными.

Первый класс – буржуазно-дворянский, сохранивший к 1941 году достаточно сильные позиции в науке и культуре. Вот почему свидетельства, с которыми мы имеем дело, когда сегодня читаем о Блокаде, это свидетельства именно этого класса.

Второй класс – советско-номенклатурный (тут есть сложности, прежде всего потому, что в 1937–1938 годах по нему был нанесен сокрушительный удар Большого террора).

Третий класс – крестьяне (в тогдашнем ленинградском просторечии – «скобари»). Это в основном люди, перебравшиеся в город в годы индустриализации и ставшие, как правило, неквалифицированными рабочими (аналог теперешним мигрантам).

Четвертый – пролетарский класс, сравнительно с предыдущим малочисленный, сформировавшийся как класс до революции. Это квалифицированные рабочие. Тут надо

отметить очень важную вещь: между двумя последними классами были очень серьезные трения. Это была конкуренция за ресурсы, то есть за жилье и за заработную плату. Ведшиеся в течение всего советского периода разговоры о справедливости оплаты по результатам труда (то, чем была наполнена советская публицистика вплоть до краха СССР: хозрасчет, прибыль, децентрализация) были во многом инспирированы теми, кто был заинтересован в дискриминации неквалифицированных рабочих, за которой неминуемо последовал бы демонтаж социализма, пусть и «мягкими средствами».

Отзвуки этой борьбы двух подчиненных классов были различимы вплоть до 1970-х годов. Это были совершенно разные люди, с разными ценностями, с разными практиками выживания.

Каждый из вышеназванных четырех классов был по-разному идеологически включен в советское общество: мобилизован пафосом социалистического строительства, индифферентен к нему или находился с ним в конфликте. Еще важнее, что каждый класс имел свои практики выживания в экстремальных обстоятельствах, в частности значительная часть крестьян прошла через опыт голода в Поволжье 1921-1922 годах и голода в Черноземной полосе СССР в 1932-1933 годах. По-разному эти классы были затронуты и военной мобилизацией: среди крестьян, мобилизованных в пехоту по причине их малограмотности и безграмотности, потери были на душу в несколько раз выше, чем у рабочих, служивших в артиллерии, бронетанковых войсках, инженерных и транспортных войсках, в военно-воздушных силах и на флоте.

Чрезвычайно важно также понимать, что на начало Блокады в городе почти не осталось мужчин призывного возраста, то есть с катастрофой столкнулись прежде всего женщины, дети, старики и инвалиды.

Теперь о социалистическом реализме. Социалистический реализм – термин, ставший усилиями неолиберальной пропаганды одиозным. Стало общепринятым понимать его как синоним тоталитарной пропаганды, духовного рабства и эстетического убожества. Любое хоть сколько-нибудь ценное произведение советского периода объявляется или исключением, лишь подтверждающим общее правило, или чем-то сущностно противостоящим социалистическому реализму.

Если следовать этой логике исключений, из поля социалистического реализма следует исключить всё сколько-нибудь живое, правдивое, талантливое, а оставить всё мертвое, лживое и бездарное. Однако, на наш взгляд это означает лишь неизжитость и актуальность советского культурного наследия, которое воспринимается носителями

русской культуры как нечто, подлежащее отрицанию так же, как веками ранее средневековая культура отрицалась культурой ренессанса, ренессанс – барокко, барокко – просвещением, просвещение – романтизмом, а романтизм – модернизмом. В действительности же каждое из этих художественных движений состоит из некоторого количества шедевров и бесчисленной массы тривиальных артефактов. Социалистический реализм здесь не исключение.

Под таким углом зрения соцреализм с его несгибаемыми героями ничуть не бессмысленней католических святых в религиозном экстазе на барочных полотнах, монархов и полководцев в классических одах, призраков в романтических балладах, пылких национальных героев в псевдоисторических романах, а также благородных бедняков и порочных богачей, героев натуралистической прозы.

Сказанное во многом справедливо и для современных исследований социалистического реализма. Поскольку он исследуется, как правило, на примерах шаблонных поделок, возникает адекватная картина лишь советского аналога массовой литературы с заменой коммерческой пропаганды на пропаганду мобилизационную. В каком-то смысле происходит редукция сложной и противоречивой истории семи десятилетий к утопическим воспитательно-дисциплинарным моделям позднего сталинизма. Показательна как советская, так и антисоветская намеренная конъюнктурная расплывчатость понимания того, что является, а что не является социалистическим реализмом, синонимизация этого понятия с понятием «советская литература».

Поначалу, если судить по материалам Первого съезда Союза советских писателей, состоявшегося в 1934 году, всерьез делалась попытка придать этому термину какой-то теоретический характер. В выступлениях Максима Горького, Алексея Суркова, Владимира Луговского проступали достаточно серьезные идейные стержни, на которых можно было бы выстроить его философию.

В частности, Горький призывал к отказу от центрирования литературы фигурой «лишнего человека», эгоистического alter ego писателя, то есть представителя мелкобуржуазного класса, и направить свой анализ на фигуры представителей антагонистических классов, справедливо заметив, что ни крестьянина, ни рабочего, ни жестокого крепостника, ни алчного капиталиста русская литература так и не исследовала.

Сурков, оппонировав Бухарину, пересыпавшему свою речь в аудитории, на треть состоящей из людей без среднего образования и с очень приблизительным знанием

русского языка латинскими афоризмами и французскими *bons mots*, упирал на классовую смену, происходящую как в писательской, так и в читательской среде, и безграничные перспективы привнесения в литературу классового опыта социальных низов.

Луговской же настаивал на том, что социалистический реализм открывает перспективу как победы над роком древнегреческой трагедии, так и синтеза «солнечного и радостного», по определению Маркса, античного понимания красоты с христианским видением «красоты и силы человека в смертном сраме» с выходом из плена индивидуалистического эгоцентризма (тут он цитирует Гераклита: «У всех бодрствующих один совместный мир, а из спящих каждый уходит в свой собственный»).

Существует предвзятое мнение о том, что Блокада замалчивалась в советской литературе. Это неправда: Сталинская премия за 1941 год была присуждена Николаю Тихонову за поэму «Киров с нами», Сталинская премия 1945 года была присуждена Вере Инбер за поэму «Пулковский меридиан» и ленинградский дневник «Почти три года», Сталинская премия 1950 года была присуждена Ольге Берггольц, имевшей репутацию «Блокадной музыки», правда не за блокадные стихи и поэмы (в условиях только что случившегося отстранения от власти городского руководства – так называемое «Ленинградское дело» – это сделать было невозможно), а за поэму о пореволюционных коммунарах (тоже далеких от позднесталинской магистральной линии партии) «Первороссийск». Наконец, уже совсем в иную, но далекую от оттепельной либеральности, эпоху Александр Чаковский был награжден Ленинской премией 1978 года за роман «Блокада», а Даниил Гранин, один из авторов «Блокадной книги», – орденом Ленина (1984). Очевидно, что речь идет не о замалчивании, а о трактовке событий.

Но попытаемся кратко обозреть блокадную поэзию, медленно спускаясь по социальной лестнице. На верхней ее ступени (буржуазно-дворянской) мы видим Анну Ахматову, которая в последние годы войны фигурировала как чрезвычайно важная литературная персона: ее стихи печатались в ведущих литературных журналах и альманахах, а также газетах «Правда» и «Известия», ее избрали в правление Ленинградского отделения Союза писателей, она выступала по радио, в Колонном зале Дома Союзов, ее встречали овациями.

Военные стихи Ахматовой одухотворены глубоко личным переживанием трагедии, но если поставить вопрос об их адресате, можно попробовать вникнуть в суть тех претензий, которые стояли за постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 года (хотя, скорее, которыми это постановление прикрывалось) и последующей речью Жданова по этому поводу. Нужно было лишь задать себе вопрос: каким стал переживший катастрофические обстоятельства читатель (не «свой», а читатель вообще) и каким видело его искавшее новую модель разговора с ним государство, ведь речь шла о неотъемлемой части революционного проекта, о «воспитании человека».

Проблема стояла конкретная: как можно воспитывать человека, который только что или вернулся с фронта или пережил трагедию в тылу, потерял, может быть, половину своей семьи? Как с этим человеком можно разговаривать?

Ахматова при всей своей возвышенности, при всем своем священном трагизме, была не способна увидеть лицо этого советского читателя, но продолжала обращаться к представителю своего класса. Вот одно из самых знаменитых ее военных стихотворений:

#### ПОБЕДИТЕЛЯМ

Сзади Нарвские были ворота,  
Впереди была только смерть...  
Так советская шла пехота  
Прямо в желтые жерла «берт».  
Вот о вас и напишут книжки:  
«Жизнь свою за други своя»,  
Незатейливые парнишки —  
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,—  
Внуки, братики, сыновья!

Во-первых, кто такие солдаты второй мировой войны? Это люди, родившиеся в промежутке между 1900 и 1925 годами. А что такое человек, родившийся в каком-нибудь 1900 году? Кто его родители? Дети рабов. То есть он, этот солдат – внук рабов. И это оскорбление рабством он носит в себе. Никакая революция не может смыть эту травму. И в этом контексте, в контексте восприятия стихов именно этим читателем «Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки» вызывают такие воспоминание, что никакой уже

дальнейший разговор невозможен. Ну кроме всего прочего, конечно, еще и антураж: люди, прошедшие войну, цепко видят детали. А какие здесь детали? Чистая буржуазная литературщина: что такое «прямо в желтые жерла “берт”»? Отсылка к окнам «в соседнем доме» в блоковской «Фабрике»? Кто это видел желтые дула орудий? Люди, видевшие эти орудия в течение трех лет, знают, какого они цвета. Ну и, наконец, какие «берты»? Берты были в Первую мировую, с тех пор прошло 30 лет, но поэтесса продолжает находиться в мире своего буржуазного прошлого.

Далее следует ступень мелкобуржуазной интеллигенции, к которой следует отнести и Геннадия Гора. Его родители были профессиональными революционерами и сам он родился в Бурятии, куда они были сосланы, но революционеры – не класс, а тема этой статьи – классовая оптика. Революционеры – всё равно люди прошлого, люди, которые приходят в революцию, чтобы возглавить восставший народ и после победы начать его воспитывать и учить.

Для 1920-х годов чрезвычайно характерны разговоры о том, что такое «культурная жизнь», как нужно «культурно есть», «культурно пить», «культурно одеваться», «культурно себя вести». Что это такое? И какая оппозиция этому встречается у поэтов раннего социалистического реализма, например у Александра Прокофьева? Поэт, описывая деревенскую драку, словно бы говорит: «это – наша практика, мы – крестьяне, мы так жили столетиями». И он утверждает эти крестьянские практики как нечто, после победы революции равное буржуазной культуре: он не признает, что есть кто-то, кто будет его учить, что такое «культурно», а что такое «некультурно», потому что, как он говорит в одном своем стихотворении: «мы отстояли, товарищ, нашу советскую власть».

Гора иногда квалифицируют как обэриута после ОБЭРИУ, а кто такие обэриуты в социальном смысле (между прочим и отец Хармса был политическим ссыльным)? Люди, совершенно растерявшиеся в ситуации полной утраты социального капитала. Именно у мелкой буржуазии революция забрала всё (с носителями буржуазно-дворянского хабитуса осталась «большая культура»): для них мир построения социализма стал миром абсурда. Другое дело, что этот мир абсурда они так выразили, так его воплотили, что это рассказывает нам о мучениях людей из некогда привилегированного класса больше, чем это смогли сделать уважаемые представители более высоких в прошлом слоев.

Стихи Геннадия Гора – и это страшная потеря для нашей поэзии – до 2002 года были неизвестны (однако и первая публикация прошла незамеченной), причем по воле самого автора. И тут дело не только в цензуре, а в чем-то другом чрезвычайно важном.

Если Ахматова писала стихи о Блокаде и в осажденном городе, и в эвакуации (тут следует не забывать, что голода она не застала), и после возвращения в Ленинград, то Гор написал все свои стихи (ни раньше, ни позже он, будучи прозаиком, стихов не писал) в эвакуации: в голодную зиму 1941–1942 гг. сил писать, как и у большинства оставшихся, у него не было.

Здесь лошадь смеялась и время скакало.

Река входила в дома.

Здесь папа был мамой,

А мама мычала.

Вдруг дворник выходит,

Налево идет.

Дрова он несет.

Он время толкает ногой,

Он годы пинает

И спящих бросает в окно.

Мужчины сидят

И мыло едят,

И невскую воду пьют,

Заедая травой.

И девушка мочится стоя

Там, где недавно гуляла.

Там, где ходит пустая весна,

Там, где бродит весна.

Жуткое стихотворение о катастрофе: потерявший рассудок от алиментарной дистрофии герой в окружении неотличимых друг от друга реалий и миражей. Поэт ушел в себя: весь мир сжался до болевой точки, находящейся внутри. Окружающий мир с другими страдающими людьми от него отступил.

Персонажи блокадной лирики Гора, если они появляются, выглядят как маски или устрашающие декорации. Но погибли в катастрофе не только поэты и их читатели, люди из «мира культуры», в голодном аду исчезли и другие живые существа: обозленные женщины, опустившиеся старики, озверевшие подростки, истаявшие дети. Заметил их поэт? Нет, не заметил – он ушел в себя, и когда он очнулся, когда прошло какое-то время, необходимое для хотя бы некоторого залечивания травмы, Гор отказался от писания стихов. Не чувствовал ли он до конца своих дней некоторое этическое препятствие не только для публикации этих стихов, но даже для чтения в кругу близких людей? В контексте проблематики, связанной с расчеловечиванием человека («Человек ли это?», как сформулировал Примо Леви) разговоры о перепуганном советской цензурой Горе не кажутся убедительными.

Но двинемся дальше. Крайне сложной, на наш взгляд, является дефиниция относимости кого-либо в довоенные годы к советской номенклатуре. За два десятилетия, прошедшие между революцией и началом Второй мировой войны, новый класс, как таковой, возникнуть не мог: для этого нужна смена поколений внутри пришедшей к власти привилегированной группы. Первый вопрос, на который требуется ответ: выходцами из какого класса были эти люди? И тут же, при попытках ответить, встает трудноразрешимая задача – ведь Большой террор в значительной степени изменил состав этой группы. С нашей точки зрения на этой ступени закономерно стоят два блокадных поэта, Николай Тихонов и Вера Инбер.

Николай Тихонов, выходец, как и большинство революционных поэтов, из мелкобуржуазной среды. Один из главных революционных поэтов, во многом лицо советской поэзии 1920-х годов. После создания советской писательской номенклатуры (Союз советских писателей) занимает в ней одно из ведущих мест (глава ленинградского отделения). Избежал репрессий в 1937 году, с началом войны получил высокий пост в Политуправлении Ленинградского фронта; к концу войны становится председателем правления Союза писателей СССР.

Однако поэтика революционных стихов Тихонова была далека от социалистического реализма: она была скорее продолжением линии Гумилева (только у Гумилева герои, условно говоря, «белые», а у Тихонова – «красные»). Но это люди с той же самой этикой, с тем же самым пониманием героизма, потому что героизм безусловно тоже имеет классовое измерение. Вспомним «Феноменологию духа» Гегеля: человек

выбирает свободу или смерть, и тот, кто выбирает смерть, и при этом выживает, становится представителем господствующего класса, а тот, кто выбирает жизнь, становится рабом.

Но совсем другой героизм – героизм угнетенных классов. Здесь героизм заключается в том, что человек, выбравший не свободу, а рабскую жизнь, в какой-то момент вдруг говорит: «Нет!».

Вспомним «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова («Про холопа примерного – Якова верного»):

Люди холопского звания –  
Сущи псы иногда:  
Чем тяжелей наказания,  
Тем им милей господа...

Речь идет о лакее, который увозит парализованного барина-мучителя в безлюдный лес и вешается на его глазах.

Так вот этот героизм, героизм угнетенных, просыпается тогда, когда в человеке, от унижений уже почти потерявшем человеческий облик, вдруг просыпается человеческое чувство (справедливости? правды? добра?). Или более характерный для XX века пример: человек всю жизнь гнул спину на какой-то фабрике или плантации (жена, дети); и вдруг в какой-то момент что-то внутри взрывается – и этот человек поднимается на баррикаду или идет в партизаны и гибнет. Почему?

Если мы хотим всерьез говорить о героизме Второй мировой войны, то не забудем, что классы поменялись. А в военных стихах Тихонова всё так, словно не поменялось ничего, словно революция только сейчас началась или будет завтра. Но революция произошла 20 лет назад: построено принципиально новое общество, люди стали другими.

Вот фрагмент из поэмы «Киров с нами», напечатанной в газете «Правда» 1 декабря (в день гибели вождя ленинградских коммунистов) 1934 года.

Разбиты дома и ограды,  
Зияет разрушенный свод,  
В железных ночах Ленинграда  
По городу Киров идет.  
Боец, справедливый и грозный,  
По городу тихо идет.

Час поздний, глухой и морозный...  
Суровый, как крепость, завод.  
Здесь нет перерывов в работе,  
Здесь отдых забыли и сон,  
Здесь люди в великой заботе,  
Лишь в капельках пота висок.  
Пусть красное пламя снаряда  
Не раз полыхало в цехах,  
Работай на совесть, как надо,  
Гони и усталость и страх.  
Мгновенная оторопь свяжет  
Людей, но выходит старик, –  
Послушай, что дед этот скажет,  
Его неподкупен язык:  
«Пусть наши супы водяные,  
Пусть хлеб на вес золота стал,  
Мы будем стоять, как стальные,  
Потом мы успеем устать».

Прекрасные героические стихи, но... где здесь рабочий?

Этот старик? «Пусть наши супы водяные...»? Так рабочие не разговаривают: у него же дома старуха-жена, пухнувшая от голода, уже не плачущие, но замолчавшие в оцепенении дети или внуки... Так он говорить не будет. Это литературщина. Такая же литературщина, что была у Ахматовой. Да, эстетически прекрасный текст (виртуозный парафраз «Воздушного корабля» Лермонтова), но это – неправда, это – неправда об этих людях, потому что героизм рабочего – это другой героизм, здесь же мы видим героизм господина, а в реальности был – героизм рабов, переставших быть рабами, хотя и сохранивших в себе травмы рабства.

Далее – Вера Инбер. Племянница Троцкого, проведшего школьные годы в семье ее родителей. Это – уже не мелкая, но собственно буржуазия, хотя и с поправкой на иудейское происхождение, не дававшее равных прав с христианами. Первый раз вышла замуж за богатого буржуа, пожила в Париже, имела еще до революции литературное «имя»: когда в 1914 году одновременно вышли вторая книга Ахматовой «Четки» и

первая книга Инбер «Печальное вино», критики их сравнивали и нередко отдавали предпочтение Инбер, а не Ахматовой. Это свидетельствует по крайней мере о мастерстве. Но дальше начинается другая история: сначала орден конструктивистов, потом попытка стать подлинно советской поэтессой (агитационные поездки на стройки социализма, но и переводы оперных либретто). В начале войны Инбер – жена ректора Первого медицинского института в Ленинграде (номенклатура, а с началом Блокады – большие привилегии). Все мемуаристы отмечают, что в самые страшные месяцы зимы 1941-42 гг. она систематически помогала друзьям: раз в неделю кормила обедом каких-нибудь голодающих литераторов. Перед этим можно только склониться с благодарностью, но мы сейчас занимаемся не ее личностью (обычно об Инбер говорят как об официальной советской конъюнктурщице, что не стоит некритически повторять). Давайте предположим, что она – настоящая поэтесса, и посмотрим, как она работает с блокадным материалом («Пулковский меридиан»):

23

⟨...⟩ День от дня

Из наших клеток исчезает кальций.

Слабеем. (Взять хотя бы и меня:

Ничтожная царапина на пальце,

И месяца уже, пожалуй, три

Не заживает, прах ее бери!)

24

Как тягостно и, главное, как скоро

Теперь стареют лица! Их черты

Доведены до птичьей остроты

Как бы рукой зловещего гримера:

Подбавил пепла, подмешал свинца —

И человек похож на мертвеца.

25

Открылись зубы, обтянулся рот,

Лицо из воска. Гривная бородка

(Такую даже бритва не берет).

Почти без центра тяжести походка,

Почти без пульса серая рука.  
Начало гибели. Распад белка.

26

У женщин начинается отек,  
Они всё зябнут (это не от стужи).  
Крест-накрест на груди у них все туже,  
Когда-то белый, вязаный платок.  
Не веришь: неужели эта грудь  
Могла дитя вскормить когда-нибудь?

.....

28

А там, за этим, следует конец.  
И в старом одеяле цвета пыли,  
Английскими булавками зашпилен,  
Бечевкой перевязанный мертвец  
Так на салазках ладно снаряжен,  
Что, видимо, в семье не первый он.

29

Но встречный — в одеяльце голубом,  
Мальчишечка грудной, само здоровье,  
Хотя не женским, даже не коровьим,  
А соевым он вскормлен молоком.  
В движении не просто встреча это:  
Здесь жизни передана эстафета...

На конъюнктуру не очень-то похоже. Многие строки выглядят как цитаты из запрещенной для читателей без особого допуска медицинской книги «Алиментарная дистрофия в заблокированном Ленинграде» (1947). Да, конечно, некоторые пассажи несут на себе печать «общепринятого», как последняя строфа – типичное советское: «а город жил...», «а город сражался...», «а музы не молчали...», но всё же это не совсем так.

Здесь дело в другом: поэтесса, живущая в отапливаемой квартире, скудно, но без опасности для жизни питающаяся, не проводящая с утра до ночи время в очередях с надеждой отоварить карточки на мизерную порцию мясопродуктов, крупы, жиров и сахара, видит, что вокруг происходит, она сострадает (пусть даже в силу относительного благополучия) окружающим, но она ничего не понимает. Чего стоит упоминание о порезанном пальце! Для блокадника услышать такое – кошунство: люди в отеках, с выпавшими от цинги зубами, у детей выросли волосы на лице, а тут – барыня, которая порезала себе палец. Но при этом цепкий женский взгляд на вещи: заметить, что труп, завернутый в ткань, еще и зашпилен английскими булавками. Это деталь, которая выдает большого поэта. Но Инбер (позднее, несмотря на все привилегии потерявшая внука), не понимает своих героев, она не понимает, что женщина, которая родила в блокаду ребенка и этот ребенок остался в живых, имела доступ к невероятным ресурсам!

Однако, сравним это с рассказом Ольги Берггольц «Баня», где такая женщина приходит в баню, а там – дистрофички. Одна из них подходит к ней, хлопает ее ладонью по заду и говорит: «Эй, красотка, не ходи сюда – съедим. Как раз... У нас недолго... Блядь...».

Вот она – классовая пропасть: Берггольц – носительница оптики социалистического реализма, она понимает этих людей, пусть даже это она сама приходит в эту баню, пусть это она сама оказалась при привилегиях. В Дневнике (12 / IV – 42) она записывает: «Я выгляжу хорошо. Сошли все отеки с лица, почти нет морщин, кожа – невысказанно шелковая (sic), как никогда; широкие, белые плечи, приятная, круглая и упругая грудь...». Но при этом она умеет видеть и понимать этих людей. А у Инбер – старая буржуазная оптика: да, мы сострадаем... Как на картинах передвижников. Вот, «Тройка»: дети, впряженные в бочку. Но художник не понимает, каков механизм насилия, который заставляет детей тащить эту бочку – для этого нужен иной социальный опыт.

Берггольц, на наш взгляд, – самый сложный и самый интересный блокадный автор. С ее прошлым, с мезальянсом в семье, с деклассированностью, вырвавшей ее из мелкобуржуазной среды, помогшей влиться в ряды комсомольцев первого призыва, этих идеалистов, мечтавших о самых высоких ценностях.

Ее оптика абсолютно соответствовала миру этих людей, с которыми она провела свою молодость. И ее отец, остзейский немец, выпускник Дерптского университета, не стал этому препятствием.

И вот, с первых дней войны она начинает работать с блокадным материалом. Во-первых, для нее это освобождение от травмы полугодового нахождения в следственной тюрьме. Снова стало понятно, с кем воевать и где враг. Ведь несмотря на то, что по некому удачному стечению обстоятельств ее оправдали, эти полгода жестоко ее травмировали: как же так? ее, отдавшую свое сердце революции, вдруг обвиняют в измене! Это не то, что старики из «бывших», которые от новой власти, в сущности, ничего другого и не ждали.

Так вот, начинается война и первое, что она делает, – вводит в свои стихи простых людей с улицы. Что нашли в войне «мастера слова», как Тихонов? Сомкнутые ряды погибших героев, железную поступь мертвого вождя, но никаких трупов на улицах, никаких дистрофиков: это не героично.

А вот «Разговор с соседкой» Берггольц. Написано, между прочим, еще в 1941 году, 5 декабря (день начала наступления под Москвой).

Дарья Власьевна, соседка по квартире,  
сядем, побеседуем вдвоем.  
Знаешь, будем говорить о мире,  
о желанном мире, о своем.

Вот мы прожили почти полгода,  
полтора суток длится бой.  
Тяжелы страдания народа —  
наши, Дарья Власьевна, с тобой.

Тут, конечно, перебой: врывается официальная интонация («Тяжелы страдания народа»), но это произносит поэтесса, а не ее персонаж. В устах ее персонажа это бы звучало непоправимой, невыносимой ложью, а она – работник радиокomiteта, выступающая в пропагандистских передачах, для нее это нормально.

О, ночное воющее небо,  
дрожь земли, обвал невдалеке,

бедный ленинградский ломтик хлеба —  
он почти не весит на руке...

(Чтобы такое сказать, нужно его подержать на руке).

Для того чтоб жить в кольце блокады,  
ежедневно смертный слышать свист —  
сколько силы нам, соседка, надо,  
сколько ненависти и любви...

Столько, что минутами в смятенье  
ты сама себя не узнаешь:  
«Вынесу ли? Хватит ли терпенья?»  
— «Вынесешь. Дотерпишь. Доживешь».

Дотерпишь! Возвращение к старым крестьянским представлениям. Крестьянин – это человек, который может терпеть. И в этом терпении есть тоже некий героизм.

Дарья Власьевна, еще немного,  
день придет — над нашей головой  
пролетит последняя тревога  
и последний прозвучит отбой.

И какой далекой, давней-давней  
нам с тобой покажется война  
в миг, когда толкнем рукою ставни,  
сдернем шторы черные с окна.

Пусть жилище светится и дышит,  
полнится покоем и весной...  
Плачьте тише, смейтесь тише, тише,  
будем наслаждаться тишиной.

Поэзия социалистического реализма это — поэзия, не являющаяся частным необязательным высказыванием. Сродни поэзии литургической, она выполняет «соборную», как говорили декаденты, миссию, так или иначе воспитывая своего читателя. Она не может повергнуть его в атмосферу безысходности («дух праздности и уныния»), хотя декабрь 1941 года, в сущности, и есть безысходность. Но она этого сделать не может. Нельзя сказать умирающему человеку: «Ты умрешь, у тебя же 3-я стадия алиментарной дистрофии: ты не выживешь, даже если сейчас тебя накормить. Всё, поздно!» Это мог бы сделать и делал буржуазный писатель («реалист без берегов»), а вот социалистический реалист сказать этого не мог: для него изобразить с полным реализмом калеку или умирающего это – стать Хамом, глумящимся над срамом своего отца. А человек, находящийся в состоянии беспомощности, это и есть человек с оголенным срамом. Потому-то поэзия социалистического реализма и наполнена беспримерным трагизмом, что, с одной стороны, она говорит правду («Плачьте тише, смейтесь тише»), а с другой, она говорит эту правду так, что нужно уметь ее расслышать (что значит «плачьте тише...»?)

Пройдет несколько лет и Берггольц напишет стихотворение-продолжение «Второй разговор с соседкой», где есть строка «Ты пятерых похоронила». В 1944 году такое сказать можно: блокада снята, а тут, в 1941 – скольких она уже похоронила? Мы не знаем.

Что еще очень важно – оптика простого человека. Оптика рабочего и крестьянина. Кем была эта женщина? Скорее всего она была женой рабочего: он работал на заводе, а она сидела дома, варила щи, обстирывала детей, так как это было принято в рабочих семьях. Это были их практики выживания. Отказаться от этого – отказаться от деторождения. При отсутствии современной бытовой техники, при том, что вплоть до конца 1950-х годов в Ленинграде кое-где не было газа, обычно не было горячей воды (хорошо, что уже были водопровод и канализация). До войны не было парового отопления – топили печки. В условиях этой старой жизни отказаться от быта означало отказаться от детей. Берггольц убедилась в этом на своем страшном опыте. Она отказалась от быта, отказалась от патриархальной модели женщины: в результате обе ее дочери умерли.

А вот Дарья Власьева скорее всего всю жизнь провела у плиты, у раковины, у корыта, у утюга. Она вырастила детей – и скорее всего эти дети погибли: сыновья, что постарше, ушли на фронт и не вернулись, а дети помладше умерли от голода в осажденном городе.

Ничего это прямо не сказано, но всё это стоит за стихами Берггольц. Ничего этого прямо назвать нельзя, но при этом всё это названо, только иначе, так, как это было принято в социалистическом реализме, который был рассчитан на читателя с определенным опытом, который позволял ему видеть то, что стоит за черными типографскими буквами.

*Литература:*

Анна Ахматова. Собрание сочинений: в 6 тт. Т. 2, кн. 1. — М.: Эллис Лак, 1999.

Ольга Берггольц. Собрание сочинений: в 3 тт. Т. 2–3. — Л.: Худож. Литература, 1989–1990.

Ольга Берггольц. Мой дневник. 1941—1971. — М.: Кучково поле, 2020.

Геннадий Гор. Обрывок реки. — СПб: Изд. И. Лимбаха, 2021.

Вера Инбер. Избранное. — М.: Сов. писатель, 1947.

Александр Прокофьев. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта. Бол. серия). — Л.: Сов. писатель, 1976.

Алексей Сурков. Избранные стихи. — М.: Сов. писатель, 1947.

Николай Тихонов. Стихотворения и поэмы (Библиотека поэта. Бол. серия). — Л.: Сов. писатель, 1981.

Полина Барскова. Сообщение Ариэля. — М.: НЛО, 2011.

Полина Барскова. Живые картины. — СПб: Изд. И. Лимбаха, 2019.

Полина Барскова. Седьмая щелочь: тексты и судьбы блокадных поэтов. — СПб: Изд. И. Лимбаха, 2020.

Игорь Вишневецкий. Ленинград. // Игорь Вишневецкий. Неизбирательное сродство. — М.: изд. «Э», 2018.

Г. В. Ф. Гегель. Феноменология духа. // Г. В. Ф. Гегель. Сочинения. Т. 4. — М.: Соцэгиз, 1959.

Евгений Добренко. Политэкономия соцреализма. М.: НЛО, 2007.

- А[ндрей] А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». — М.: Госполитиздат, 1946.
- Сергей Завьялов. Рождественский пост. // Сергей Завьялов. Стихотворения и поэмы. 1993–2017. — М.: НЛО, 2018.
- Сергей Завьялов. Что остается от свидетельства: меморизация травмы в творчестве Ольги Берггольц. // НЛО. № 116 (2012)
- Борис Иванов. Белый город. // Борис Иванов. Соч.: в 2 тт. Т. 1. М.: НЛО, 2009.
- С[танислав] И. Сухих. Эволюция доктрины соцреализма во 2-й половине XX века. // Вестник Нижегородского ун-та: Филология. 2013 № 2.
- Олег Юрьев. Геннадий Гор: Заполненное зияние – 2. // Олег Юрьев. Заполненные зияния. — М.: НЛО, 2013.
- С[ергей] В. Яров. Блокадная этика. — М.: Центрполиграф, 2012.
- Сергей Яров. Повседневная жизнь блокадного Ленинграда. Изд. 2-е. — М.: Молодая гвардия, 2014.
- Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде. — Л.: Медгиз, 1947.
- Первый всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. — М.: Гос. изд. художественной литературы, 1934.
- Второй всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. — М. Сов. писатель
- ЦК ВКП(б). О журналах «Звезда» и «Ленинград» (...). — М.: Госполитиздат, 1950.